Сад стеклянных орхидей

Ильдар Кит

Сад стеклянных орхидей

«Автор»
2026

Кит И.

Сад стеклянных орхидей / И. Кит — «Автор», 2026

Шестнадцатилетняя Мия Уинтерс возвращается в элитный пансион «Блэквуд» — изолированное поместье в туманных лесах, где её старшая сестра Элеонора бесследно исчезла год назад. Мия хочет одного: узнать, что случилось с сестрой.Но пансион встречает её идеальной тишиной. В архиве нет имени Элеоноры. Архивариус не помнит мятных пастилок, которые раздавал её сестре. На групповых фотографиях за сто лет — одни и те же лица и одна и та же директриса, которой нельзя дать больше двадцати пяти.Чтобы спасти сестру Мии придётся сделать то, о чём просила Серена — старшая «идеальная» ученица, которая десять лет назад потеряла здесь свою сестру: разбить центральный цветок, убив то, что осталось от Элеоноры, — и освободить её.Но сад умеет менять форму. И споры — как и желание стать идеальной — переносятся водой, воздухом и самим человеком.

© Кит И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Оглавление 6
ГЛАВА 1. ВОРОТА 7
ГЛАВА 2. ДИРЕКТРИСА 9
ГЛАВА 3. ИДЕАЛЬНЫЕ 11
ГЛАВА 4. ИМЯ 13
ГЛАВА 5. ШРАМ 15
ГЛАВА 6. ТАЙНИК 17
АКТ ВТОРОЙ 19
ГЛАВА 7. ЛЕЗВИЯ 20
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Ильдар Кит
Сад стеклянных орхидей

САД СТЕКЛЯННЫХ ОРХИДЕЙ
Готический хоррор / психологический триллер / Young Adult
Роман

«Они обрезают нас, чтобы мы цвели»

Оглавление

ПРОЛОГ
ГЛАВА 1. ВОРОТА
ГЛАВА 2. ДИРЕКТРИСА
ГЛАВА 3. ИДЕАЛЬНЫЕ
ГЛАВА 4. ИМЯ
ГЛАВА 5. ШРАМ
ГЛАВА 6. ТАЙНИК
ГЛАВА 7. ЛЕЗВИЯ
ГЛАВА 8. НЕ МОРГАЮТ
ГЛАВА 9. СОРОК ПРАВИЛ
ГЛАВА 10. ОРАНЖЕРЕЯ
ГЛАВА 11. ЧЕМ ОНА ПИТАЕТСЯ
ГЛАВА 12. ОБРЕЗАНИЕ
ГЛАВА 13. НОВАЯ ЛИНА
ГЛАВА 14. АРХИВ ДИРЕКТОРИСЫ
ГЛАВА 15. НОЧНОЙ СЕАНС
ГЛАВА 16. КОПИЯ
ГЛАВА 17. ЛИЦО В ЦВЕТКЕ
ГЛАВА 18. РУКА ЛИНЫ
ГЛАВА 19. СОГЛАСИЕ ПОЛУЧЕНО
ГЛАВА 20. СЕРЕНА
ГЛАВА 21. ДОРОГА
ГЛАВА 22. КУРС
ГЛАВА 23. ЦВЕТОК
ГЛАВА 24. ПЛАМЯ
ЭПИЛОГ. ЗЕРКАЛО

Готический хоррор / психологический триллер / YA

ПРОЛОГ

Из дневника Элеоноры Уинтерс. Запись за двадцать шесть дней до её исчезновения.

Они повесили в моей комнате зеркало.

Директриса сказала, что это подарок. «Каждой девочке нужно видеть, какой она стала, Элеонора. Прогресс важнее всего».

Прогресс. Здесь всё измеряют прогрессом. Сколько ты улучшилась за неделю. Сколько стали ровнее твои почерк, осанка, улыбка. Сколько лишнего ты сбросила — слов, привычек, воспоминаний. Я записываю это в дневник, потому что боюсь: если однажды я забуду хоть что-то о себе, некому будет напомнить.

Вечером я смотрела в новое зеркало очень долго. И мне показалось — хотя, наверное, это всего лишь свет от лампы, — что отражение улыбнулось раньше меня.

Я уже не уверена, что в этом доме улыбка вообще принадлежит тому, кто её показывает.

Если я исчезну — ищите оранжерею.

ГЛАВА 1. ВОРОТА

Поезд высадил меня на станции, где не было ничего, кроме скамейки, таблички с выцветшей надписью «Блэквуд-Холл» и ветра.

Ветра здесь было много. Он шёл от леса — тяжёлый, влажный, пахнущий хвоей и чем-то ещё, чему я не могла придумать название. Чем-то сладким и чуть порченным, как цветы, которые забыли вынести из тёплой комнаты.

— Мия Уинтерс? — Миссис Вейл прислала за мной карету. Так она это называла. Карету. На деле это оказался старый микроавтобус цвета неопределённости, и водитель за рулём улыбнулся мне так вежливо и так одинаково, что я даже не смогла запомнить его лица.

— Она самая, — сказала я. — В смысле... да.

Водитель не засмеялся. Он просто кивнул, забрал мой чемодан и двинулся в путь, а я прижалась лбом к запотевшему стеклу и смотрела, как лес смыкается за нами, словно вода за пловцом.

Дорога вилась между стволами очень, очень долго. Деревья здесь были неправильные — слишком ровные, слишком высокие, слишком тёмные, как будто их рисовали по памяти человек, который никогда не видел настоящего леса. Между ними не было ни одной сосульки, ни одной сороки, ни одного сломанного сука. Только идеальные прямые стволы и идеальная тишина.

— Первый раз? — спросил водитель, не оборачиваясь.

— Нет. Я здесь училась три года. — Я сделала паузу. — Потом уехала. Теперь вернулась.

— Возвращение — это всегда хорошо, — сказал он тем ровным голосом, каким сообщают прогноз погоды. — Здесь все всегда возвращаются.

Мне не понравилось, как он это произнёс. Не «некоторые возвращаются», не «многие». Все. Всегда.

Я достала телефон. Сигнала не было — ни палочки, ни даже сети. Экран показывал время 16:40 и дату, и больше ничего. Я всё равно смотрела в него до самых ворот, потому что смотреть на ворота было страшнее.

Они выросли из тумана внезапно: два литых столба высотой в три человеческих роста, увитые чёрным плющом, и между ними — кованая решётка с узором из переплетённых стеблей и цветов. Красиво. По-настоящему красиво, я готова это признать. Но если долго смотреть на узор, начинаешь понимать, что все цветы в нём одинаковые. Десятки, сотни одинаковых орхидей, отлитых по единой форме, и ни одна не отличается от соседней ни лепестком, ни прожилкой.

За воротами поднимался дом.

Он был именно таким, как я его помнила — и это оказалось хуже всего. Три этажа серого камня, высокие стрельчатые окна, фронтон с потемневшим гербом. Вековой плющ, аккуратно подстриженный так, что ни один лист не выступал за отведённую ему линию. Оранжерея слева — длинная, с остеклённой крышей, и стекло в ней отражало низкое небо абсолютно чисто.

Я год мечтала вернуться сюда и найти хоть какую-нибудь зацепку. Хоть слово, хоть пылинку, хоть след, подтверждающий, что год назад здесь существовала моя сестра.

Ничего в этом доме не изменилось. В этом была главная жуть. В обычных местах всё меняется: кто-то разобьёт окно, упадёт дерево, облезет краска. Здесь, казалось, время не имело права оставлять царапины.

— Прибыли, — сказал водитель и на секунду обернулся.

У него было ровное, гладкое, ничем не примечательное лицо. Но когда он улыбнулся, мне на долю мгновения показалось, что улыбка эта была раньше лица. Что лицо просто подогнали под неё, как подгоняют костюм.

— Добро пожаловать домой, Мия Уинтерс.

Дом. Это слово здесь всегда произносили с особым нажимом, и год назад мне казалось, что это просто стиль. Теперь я слышала в нём что-то другое. Как будто дом — это не место, а условие. Как будто туда, домой, можно не вернуться.

Штукатурка над аркой главного входа была чуть темнее, чем вокруг. Я заметила это, ещё когда выходила из машины, и только вечером поняла, почему: там, где раньше висела вывеска с одним названием пансиона, теперь оставался след от второй. От той, что сняли.

За год у меня не было ни одного дня, когда я не спрашивала себя, что случилось с Элеонорой. За этот час я впервые начала бояться ответа.

ГЛАВА 2. ДИРЕКТРИСА

В холле пахло так же, как год назад: воском, полиролью и сухими белыми цветами, которых никто никогда не видел распускающимися — они просто появлялись в высоких вазах, всегда свежие, всегда одинаковые.

Миссис Вейл ждала меня у подножия главной лестницы.

Она всегда ждала. Я ни разу не видела, чтобы она к кому-нибудь выходила или чтобы кто-нибудь приходил к ней первым — она просто оказывалась там, где ей следовало оказаться, и делала это так незаметно, что у тебя не оставалось шанса среагировать. Год назад я думала, что это профессиональный навык воспитательницы. Теперь я смотрела на её ровную спину и гладко зачёсанные волосы и думала другое.

Ей было за пятьдесят. Я знала это доподлинно — я видела фотографию с её выпуска, хранившуюся в том самом тайнике, о котором она не должна была узнать никогда. На фотографии стояла девушка её возраста, только без седины, и это была она, она самая, с той же родинкой под левой глазницей.

Сейчас ей нельзя было дать и двадцати пяти.

— Мия. — Она протянула руку, и я пожала её. Ладонь была прохладной — не холодной, именно прохладной, как фарфор, на который положили руку только что. — Мы так рады, что ты решила продолжить своё образование у нас. Семья — это ведь так важно.

Семья. Я не рассказала ей, что мои родители подписали бумаги об этом «продолжении образования», даже не спросив меня, и что по их мнению пансион, куда год назад уехала Элеонора, а потом — я, — был лучшим, что можно было сделать для трудного подростка. Мия дерзит. Мия запирается в комнате. Мия перестала есть вслух. Мия задаёт вопросы о сестре, на которые мы не хотим отвечать.

Пусть съездит туда. Пусть посмотрит на идеальные коридоры и идеальных девочек. Пусть выучится дисциплине.

— Радость взаимная, — сказала я ровно. За год я научилась ровному голосу, пусть и не здесь. — Спасибо, что приняли меня обратно.

— О, тебя здесь всегда ждали. — Миссис Вейл улыбнулась, и мне стало плохо от этой улыбки — не от чего-то в ней, а наоборот, от того, чего в ней не было вовсе: ни тепла, ни холода, ни насмешки, ни жалости. Ни единой зацепки для человека напротив. — Ты ведь в комнате двенадцать? Как и раньше. Твоя соседка уже приехала. Ей тоже... непросто даётся адаптация.

Она повернулась и пошла по коридору, и я пошла за ней, и пол под нашими шагами не отозвался ни единому звуку — ковры здесь были такие толстые, что шаги просто умирали в них, не успев родиться.

На втором этаже, у поворота, стояли две девочки. Старшие. Одеты одинаково: тёмные юбки, белые блузки, волосы собраны в безупречные низкие пучки. Они не разговаривали и не смотрели в окно — они просто стояли, обе, лицом в коридор, и улыбались.

Мне.

Миссис Вейл не поздоровалась с ними, и они не поклонились ей. Мы прошли мимо, и всю дорогу — метра три, не больше — я чувствовала на себе четыре глаза и две одинаковые улыбки, и ни разу, ни на одном шаге, они не моргнули.

— Наши старшие воспитанницы, — сказала миссис Вейл без всякого представления, как будто это было самоочевидно. — Серена и Аделаида. Вы познакомитесь. Все здесь в конце концов знакомятся.

За поворотом я оглянулась.

Девочки всё ещё стояли и всё ещё смотрели мне вслед — теперь уже поверх плеча миссис Вейл. И улыбались всё той же, не потревоженной улыбкой.

Комната двенадцать была такой, какой я её оставила. Это оказалось даже не сюрреалистично, а обидно: та же трещина на потолке, тот же скрип третьей доски, те же царапины на подоконнике, которые я сделала сама, в четырнадцать, ключом от пенала. Две кровати. Два письменных стола. Два шкафа. Окно на лес.

На второй кровати кто-то уже раскладывал вещи.

Она обернулась на звук двери — резко, всем корпусом, как оборачивается человек, у которого долго вырабатывалась привычка вздрагивать. Тонкая, тёмные волосы, заплетённые в тугую косу, глаза, которые сначала посмотрели на меня, потом на мои руки, потом снова на лицо — как будто она проверяла, не опасна ли я, и делала эту проверку профессионально, за долю секунды.

— Привет, — сказала она. Голос был тихий и быстро испугался собственного звука. — Я Лина. Мне сказали, ты... придёшь.

— Мия.

— Да. Да, я знаю. Мне сказали.

Мы помолчали. За окном шумел неправильный лес, и где-то в его глубине, далеко, что-то тихо звякнуло — как стекло о стекло.

— Слушай, — сказала Лина и понизила голос до предела, хотя дверь была закрыта. — Можно вопрос? Только честно. Только мне.

— Зависит от вопроса.

— Ты чувствовала это? Когда ехала сюда. Что тебя... — Она поискала слово и нашла не то, которое хотела, а то, которое оказалось под рукой: — ...что тебя здесь ждут?

Я посмотрела на неё. На бледное лицо, на тёмную косу, на пальцы, которые теребили край свитера так усердно, что ткань стала тёплой.

— Каждый метр дороги, — сказала я.

И Лина выдохнула так, как выдыхают люди, которым впервые за долгое время подтвердили, что они не сумасшедшие.

ГЛАВА 3. ИДЕАЛЬНЫЕ

В пансионе «Блэквуд» существовало расписание, и оно начиналось с колокольчика.

Колокольчик — не колокол, а именно колокольчик, тонкий серебряный, подвешенный над главной лестницей, — звонил в шесть тридцать. Потом завтрак. Потом первый урок. И так весь день, от звонка до звонка, с точностью, которой позавидовали бы швейцарские часы, если бы швейцарские часы умели злиться.

На первый завтрак я спустилась с Линой, и это оказалось ошибкой с точки зрения стратегии: втроём newcomers стояли заметнее. Но уходить от неё не хотелось. Уже за один вечер я успела понять про Лину три вещи. Первая: она боится. Не чего-то конкретного — всего, постоянно, фоном, как боится человек, у которого этот страх стал частью дыхания. Вторая: она рисует. На краях её тетрадей, на полях учебников, на запотевших окнах — она рисовала всё, что видела, и делала это с такой точностью, что становилось не по себе. И третья: она не боится меня. Пока.

Столовая была длиной с вокзальный перрон и высотой в два этажа. Длинные столы, накрытые белым, девочки по обеим сторонам — младшие, средние, старшие. Сто восемьдесят человек, и я не слышала ни единого голоса.

Все ели. Аккуратно, бесшумно, с идеальной осанкой. Вилки не звенели о фарфор. Стаканы опускались на скатерть без стука. Сто восемьдесят девочек жевали, глотали и смотрели в свои тарелки, и единственным звуком в огромном зале было ровное, слитное движение челюстей, от которого у меня зачесались зубы.

— Садись, — шепнула Лина и потянула меня к свободным местам в дальнем конце среднего стола.

Мы сели. Я взяла вилку. И в этот момент за дальним столом встала Серена.

Я узнала её сразу — по той самой улыбке из коридора. Она не встала резко, не отодвинула стул. Она просто оказалась на ногах, и её движение не издало ни звука.

Она шла вдоль стола к нам — медленно, вежливо, с идеальной осанкой, — и весь зал следил за ней краешками глаз, не поворачивая голов. Я чувствовала это так же ясно, как чувствую сейчас: сто восемьдесят пар глаз следили за движением Серены, и ни одна голова не повернулась.

— Доброе утро, — сказала она, поравнявшись с нами. Голос был мягкий, тёплый, поставленный. — Ты Мия Уинтерс. А ты — Каролина Зорина, но тебе больше нравится Лина.

Это не был вопрос и не было представление. Это было констатация фактов, причём фактов, которых она знать не могла.

— Откуда ты знаешь, как мне нравится? — спросила Лина тихо.

Серена улыбнулась. И я впервые посмотрела на эту улыбку не как на вежливость, а как на объект, и увидела то, о чём потом будет думать всю ночь: она не менялась. Она была ровно той же, что в коридоре, что сейчас, что, наверное, во сне. Не широкая и не узкая, не тёплая и не холодная. Просто улыбка. Готовая, стандартная, отлитая по форме.

— Здесь не бывает секретов, — сказала Серена. — Здесь бывает только то, что ты ещё не сказала.

Она положила на наш стол две белые карточки.

— Расписание, — пояснила она. — И приветственный букет, — она кивнула на вазу посреди стола, где стояли всё те же невиданные белые цветы. — Это орхидеи. Здесь их очень любят. Скоро и вы полюбите.

На последнем слове она чуть наклонила голову — жест настолько грациозный, настолько выверенный, что на секунду показался мне механическим. Потом она повернулась и ушла так же бесшумно, как пришла.

Карточка лежала передо мной на белой скатерти. Расписание: подъём, зарядка, уроки, трапезы, отбой. Внизу, мелким красивым шрифтом, был напечатан девиз пансиона.

Perfection is discipline. Совершенство — это дисциплина.

Я подняла глаза на Лину. Лина смотрела на вазу с орхидеями, и лицо у неё было такое, какое бывает у человека, который смотрит на что-то очень красивое и очень правильное и от этого хочет бежать без оглядки.

— Мия, — сказала она совсем тихо. — Ты видела, как они улыбаются? Все. У всех одна и та же улыбка. Я вчера это заметила, когда смотрела на младших, потом на средних, потом на старших. Это одна улыбка на всех. Как будто её... выдали.

— Выдали, — повторила я.

В дальнем конце стола, через весь зал, Серена снова улыбалась — теперь кому-то другому. И по залу, от стола к столу, от девочки к девочке, шла её улыбка — и оказывалась на лицах. Идеальная. Одинаковая. На всех.

Лина была права.

Её выдали.

ГЛАВА 4. ИМЯ

В пансионе «Блэквуд» был архив.

Об этом не говорили прямо, но существование его не скрывали: комната на третьем этаже западного крыла, за дверью без таблички, с витражом из молочного стекла — так, чтобы снаружи не видно было, что внутри. Сюда заглядывали за справками, за потерянными расписаниями, за забытыми справками о прививках. Сюда также приходили девочки, которым было стыдно за двойку и которые надеялись, что архивариус забудет выдать её родителям.

Архивариусом была мисс Хэблоу — маленькая сгорбленная старушка с крошечными цепкими руками и очками, которые она носила на самом кончике носа, так что смотрела на тебя всегда поверх них. Год назад я разговаривала с ней десятки раз.

Год назад мисс Хэблоу знала Элеонору.

Элеонора Уинтерс, моя старшая сестра, проучилась здесь три семестра. Она держала в архиве личную полку — я помнила, как мы вместе приходили за её ведомостями, и мисс Хэблоу ворчала, что Элеонора раскладывает бумаги «не по размеру, а по настроению». Я помнила её смех в этой комнате. Я помнила, как старушка каждый раз совала Элеоноре мятную пастилку из стеклянной банки — «чтобы голосок не охал», — и как сестра прятала пастилку в карман, потому что есть в архиве было запрещено.

Я пришла сюда в первый же день, между обедом и полдником, под предлогом справки о зачислении.

— Мисс Хэблоу, — сказала я, — мне нужна личная полка. Уинтерс, Элеонора. Она здесь училась до меня.

Старушка посмотрела на меня поверх очков. Доброжелательно. Спокойно. С тем самым выражением, с каким смотрят на ребёнка, который задал милый бессмысленный вопрос.

— Уинтерс, — повторила она. — Мия Уинтерс, комната двенадцать. Да-да, конечно, я помню твою полку, милая. А кто такой Элеонора?

Слово «кто» меня спасло. Будь оно «что», я бы закричала.

— Моя сестра, — сказала я ровно. — Она училась здесь три семестра. Я приходила с ней за ведомостями. Вы давали ей мятные пастилки. Вы говорили, что она раскладывает бумаги не по размеру, а по настроению.

Мисс Хэблоу моргнула. Один раз. Медленно, как моргают совы.

— Какое забавное выражение, — сказала она. — Нет, милая, не припомню. Я была бы не прочь запомнить девочку с такой привычкой, поверь мне. Но у Уинтерс у нас одна воспитанница. Это ты.

— Тогда покажите мне полку. На ней могут быть старые бумаги.

— Разумеется, могу. — Она сделала это — провела меня вдоль бесконечных стеллажей, остановилась у полки, провела пальцем по корешкам. — Вот. Уинтерс, М. Всё, что есть.

На полке стояло шесть папок.

Шесть. Не семь. Не десять. Шесть — и все с моими ведомостями, моими характеристиками, моими справками. Больше за этим ярлыком не было ничего.

Но полка была длинной.

Полка была длинной ровно на одну папку больше, чем нужно для шести. Пустое место — сантиметров пять, обточенное, чистое, как будто его специально подпилили, чтобы не бросалось в глаза. Как будто папку не просто забрали — папку подогнали под исчезновение.

Я смотрела на это пустое место, и мисс Хэблоу смотрела на меня поверх очков, и улыбка её была вежливой и бесшовной, как стеклянная витрина.

— Всё в порядке, милая?

— Всё, — сказала я. — Спасибо. Я забыла, кажется. Про пастилки тоже забыла. Извините.

— Здесь не за что извинять, — сказала мисс Хэблоу. — Здесь не бывает памяти, которой не нужно.

Я не спросила, что это значит. Я боялась узнать.

В тот вечер я попросила у Лины её карточку расписания — просто чтобы сравнить. У Лины не было ни одного пропуска, ни одного исправления. Ни одной буквы, которая не была бы идеальной.

У меня в моей, если присмотреться, тоже.

Просто у меня всё ещё оставалась память о том, как выглядят исправления.

ГЛАВА 5. ШРАМ

Лина не спала ночью так же, как не спала я.

Я поняла это не сразу: у неё была привычка лежать без движения, дышать ровно и очень тихо — так лежат люди, которые давно научились делать вид, что спят, потому что настоящая тишина им не давалась. Мы лежали в своих кроватях, между нами три метра тёмной комнаты, и за окном шумел неправильный лес.

— Лина.

— Ага, — сказала она в темноту. Она не притворялась, что спала. Она, кажется, ждала.

— Ты можешь задать этот свой вопрос про «меня ждут» ещё раз? Я хочу ответить на него честно.

Она помолчала. Потом скрипнула пружинами — села.

— Меня отдали сюда после того, как я разбила вазу, — сказала Лина. Голос у неё был ровный, заученно ровный, как у человека, который репетировал эту фразу перед зеркалом, чтобы не сорваться. — Она была мамина. Хрупкая, голубая. Я уронила её, когда убиралась, и... — Она остановилась. — Понимаешь, это звучит глупо. Двадцать лет вазы. И я её уронила.

— Это не глупо.

— Я потом три часа лежала и собирала осколки. Пальцами. Я хотела вернуть её хотя бы так, сложить обратно, склеить по трещинкам, чтобы никто не узнал. — Лина засмеялась — коротко, сухо. — Мама застала меня за этим. С осколками в ладонях. Она сказала, что больше не может на меня смотреть. Что я порчу всё, к чему прикасаюсь. И что, может быть, Блэквуд сделает из меня что-то, за что её не будет стыдно.

За окном, далеко, снова звякнуло стекло о стекло. Мы обе услышали.

— Это не дерево, — сказала Лина. — Там ничего не звенит. Лес не звенит, Мия.

— Я знаю.

— Тогда что это?

— Не знаю, — сказала я. — Но я знаю кое-что похуже. Хочешь узнать или хочешь спать?

— Хочу знать, — сказала Лина. И добавила тихо: — Спать я всё равно не буду.

Я села напротив неё, на пол, спиной к своей кровати. И рассказала ей. Про Элеонору. Про пустое место на полке в архиве. Про мисс Хэблоу, которая не помнила мятных пастилок. Про то, что никто во всём пансионе не назвал имя моей сестры, — хотя я спрашивала садовника, и повара, и ту учительницу музыки, у которой рука Элеоноры когда-то дрожала на нотах, потому что она боялась пробовать фальшивить.

Лина слушала, не перебивая. Потом спросила одно:

— А ты сама помнишь её?

Я открыла рот. И закрыла.

Потому что в ту секунду — впервые за год — я не была уверена.

Я помнила, что у Элеоноры были тёмные волосы. Что она смеялась носом. Что она рисовала орхидеи на полях всего подряд. Что у неё на левой руке был шрам... нет. Это был шрам Лины, я видела его днём, когда Лина раскладывала вещи и задрала рукав, — тонкая белая линия поперёк ладони, след от осколка, который она не смогла собрать.

Но Элеонора? Я помнила, что у неё были тёмные волосы. Какого цвета её глаза? Какого роста она была? Каким голосом она говорила «доброе утро»?

Пусто.

Как пустое место на полке.

— Мия, — сказала Лина. Она уже сидела рядом со мной на полу, я не услышала, когда она пересела. — Ты вся побелела.

— Я не помню её лицо, — сказала я. — Я знаю факты. Тёмные волосы, старшая на два года, рисовала орхидеи. Но я не могу вспомнить... — Я сглотнула. — Это как читать о человеке в чужом дневнике. Как будто кто-то вычистил её из меня, а факты оставил, чтобы я не заметила пропажи.

— Здесь что-то забирает память, — сказала Лина.

— Здесь что-то забирает больше, чем память.

Мы сидели на холодном полу до полуночи. Потом Лина сказала — уже без страха, просто тихо, как констатируют диагноз:

— Значит, нам надо найти то, что она оставила. Если она была здесь три семестра — она оставила что-то. Люди всегда оставляют.

— Люди, — согласилась я. — Здесь вопрос в том, кто из нас ещё люди.

Лина посмотрела на меня долгим взглядом. Потом протянула руку — ту самую, со шрамом — и положила мне на плечо. Жест короткий, неловкий, совершенно человеческий.

— Я, — сказала она. — Пока я помню свои ошибки. Пока они меня пугают. Пока я не хочу быть исправленной.

— Пока, — повторила я.

— Пока, — согласилась она.

И где-то в лесу, в тишине между двумя ударами ветра, снова звякнуло стекло. На этот раз ближе.

ГЛАВА 6. ТАЙНИК

Комната сестры была на третьем этаже. Северное крыло.

Уже в коридоре я поняла, что что-то не так: дверь комнаты тридцать один — комнаты, в которой Элеонора прожила полтора года, — была обита плотной досками фанерой, свежей, крашеной под цвет стены. На ней висела табличка «Инвентарный склад».

— Законсервировали, — прошептала Лина за моей спиной. — Как хранилище.

— Как гробницу, — сказала я.

Фанера была прибита аккуратно, по всему периметру, но сверху, у петель, осталась щель — не больше пальца. Я просунула туда руку и потянула. Дерево скрипнуло, но не поддалось. Вторая попытка — гвоздь у петли отошёл на миллиметр. Третья — Лина встала рядом, вложила в доску всю свою хрупкость, и фанера с треском, который показался мне оглушительным на всю ночную школу, отошла в сторону.

Мы замерли. Посчитали до шестидесяти. Ничего не произошло. В пансионе спали сто семьдесят восемь идеальных девочек и одна, возможно, неидеальная директриса.

Комната внутри была пуста.

Не «бедно» и не «неубрано» — пуста. Кровать снята, шторы сняты, обои на стенах местами ободраны до штукатурки — но не бесформенно, а ровными полосами, как будто обои снимали бережно, свёртывая в рулоны, чтобы использовать где-то ещё. Дырки от полок затёрты. Дырки от гвоздей затёрты.

Только подоконник остался прежним.

Подоконник остался прежним, потому что его нельзя было снять.

Я подошла к нему и провела пальцами по краю — и там, где белила покрывали всё остальное, под мойкой пальцами проступило то, что я ждала увидеть четыре царапины.

Элеонора делала их ключом от пенала, в четырнадцать лет. Пять лет назад, в первый наш приезд сюда, когда она уже тогда ненавидела Блэквуд, хотя ещё не могла объяснить почему. Четыре коротких штриха, от которых, если знать, где искать, подоконник поднимался вверх.

Я надавила. Дерево поднялось с сухим стоном.

В тайнике лежали три вещи.

Свёрнутый в трубу лист бумаги. Ключ от комнаты, которого здесь не должно было быть, — маленький, латунный, с зубчатым краем. И дневник.

Дневник был в кожаном переплёте, потёртом по углам. Я открыла его прямо там, на коленях, при свете крошечного фонарика, который Лина предусмотрительно держала ладонью, чтобы не отсвечивать в окно.

Первые страницы были обычными. Записи. Мысли. Элеонорины короткие ироничные заметки о пансионе, о фигурировавших в них учителях, о девочках, о правилах. Я читала и слышала её голос — правда, слышала так, как слышишь голос человека в чужом сне: правда, но не твоя.

На седьмой странице записи стали короче. На пятнадцатой — совсем короткие.

— «Директриса спрашивала, чего я боюсь. Сказала ей правду: что я стану ровной. Она улыбнулась и сказала, что это не страх, это цель».

— «Сегодня видела, как Серена выпорхнула в оранжерею после отбоя. Она вернулась через час. Другая».

— «Я больше не снимаю рубашку».

Я перевернула страницу. И дальше дневник кончился.

Не кончился записями — кончился словами. Последние двадцать страниц были исписаны рисунками.

Орхидеи.

Элеонорины орхидеи — те самые, которые я помнила на полях всех её тетрадей, — но здесь они были другие. Стеклянные. Прозрачные, с тонкими гранёными лепестками, которые Элеонора заштриховывала так плотно, что они казались острыми, как бритвы. Лепестки на её рисунках имели края. Режущие.

Некоторые орхидеи были нарисованы крупно, во всю страницу, и в их центры Элеонора вписывала слова — маленькие, аккуратные, будто штампы: «послушание». «красота». «прогресс». «дисциплина». На одной орхидее вместо сердцевины было нарисовано маленькое зеркало.

На последней странице рисунков, в самом углу, была только одна строчка — торопливая, вжимающаяся в бумагу так, будто автор боялся, что её остановят на середине фразы:

«Они обрезают нас, чтобы мы цвели».

Мы смотрели на эту строчку вместе с Линой очень долго. За окном шумел лес. Где-то под нами, глубоко в тёмных коридорах дома, тихо, почти неслышно, звякнуло стекло.

— Мия, — прошептала Лина.

— Я знаю, — сказала я.

— Она не сбежала. Твоя сестра.

— Я знаю.

— Они забрали её. Тот же самый способ, которым они собираются забрать нас. Сегодня, завтра, в конце семестра — когда придёт срок «прогресса».

Я закрыла дневник. Взяв свёрток бумаги, я развернула его. Это была карта — нарисованная от руки, теми же торопливыми штрихами, что и строчка в конце. План пансиона. Коридоры, лестницы, служебные двери, подвалы. И в глубине западного крыла, за пределами всех помеченных комнат, был обозначен отдельный квадратик, обведённый дважды.

Подпись под ним Элеонора сделала одну, и это была не подпись, а предупреждение:

«Оранжерея. Она слушает. Она помнит».

Мы сидели в разрушенной комнате моей исчезнувшей сестры, под потолком, на котором уже проступали первые серые признаки рассвета, и держали в руках доказательства того, о чём я боялась даже думать.

— Лина, — сказала я наконец. — Когда они поймут, что мы знаем... что они сделают с нами?

Лина не ответила сразу.

Потом сказала — очень тихо, очень ровно, глядя на дневник:

— Лучше спроси, чего они не сделают.

И в этот момент — далеко, в глубине поместья, за туманными окнами запертой оранжереи — что-то огромное и дремлющее, что прислушивалось к нам всю ночь, впервые за год изменило своё дыхание.

Мы почувствовали это кожей.

Оранжерея проснулась.

Конец первого акта. Главы 7–12 — второй акт: рисунки-карты, странности «Идеальных», первая вылазка к оранжерее и то, что найдётся внутри.

АКТ ВТОРОЙ

ГЛАВА 7. ЛЕЗВИЯ

Мы перенесли всё из тайника в нашу комнату за одну ночь и три бессонных часа.

Дневник — под выдвижной настил под моей кроватью, туда, где раньше я прятала запрещённые наушники. Карту — Лина предложила скопировать. «Оригинал пусть лежит там же, а работать мы будем с копией: если нас обыщут, мы потеряем копию, а не последнее, что осталось от неё».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.